

ИВАН БЕЛЫХ



ТАМ, ДАЛЕКО-ДАЛЁКО

РАССКАЗ

С какого же времени я стал помнить себя? Иной раз в памяти мелькнёт туманным видением картина из раннего детства, и тогда кажется, что помнишь себя с пелёнок, с зыбки.

Чаще всего память, как настойчивый поводырь, приводит меня к окошку в нашей деревенской избе. словно заправский киномеханик, она, моя не худая ещё память, прокручивает одну и ту же ленту. Картина настолько проста и бесхитроствна, что рассказывать о ней не следовало бы. Но она дорога мне до тихой душевной боли, значительна, как философский трактат.

Жаркое северное лето. В сияющей голубизне неба плавится солнце. Я, бесштаннный карапуз, сижу в прохладной летней избе у раскрытого окна и постигаю ошеломляюще просторный мир. Он пугает меня своими аховыми размерами и в то же время завораживает, неодолимо манит к себе.

Из окна мне видно всё. Сразу за деревней — спелые поля, ржаное и пшеничное. Их цвет кажется мне вкусным. Чуть ниже начинаются кочковатые пойменные дуга, огороженные змейками словых и сосновых веретей. В прогалах между веретями синее лента величавой Вычегды-реки. За рекой расстилается плотная, косматая медвежья шкура пармы. Отсюда, из деревни, она кажется настолько непроходимой, что я не могу понять, как в неё попадают люди.

БЕЛЫХ Иван Ильич родился в 1946 году в селе Палевицы Сыктывдинского района Коми АССР. Окончил филологический факультет Коми педагогического государственного института. Работал корреспондентом газеты "Коми му", редактором Коми книжного издательства. Автор четырех книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Сыктывкаре.

Тайга поднимается выше, выше, медвежья шкура густеет, переливается на холмах и впадинах, и на самом горизонте заканчивается высокой горой. Мои младенческие глаза научились видеть так далеко, что я стараюсь различить на этой горе вершины самых больших деревьев. Я понимаю, что там растёт особенный, сказочный лес, и всё там должно быть особенное, сказочное.

На самой вершине горы виднелась вышка. Ни одно дерево не могло сравниться с ней. Мне казалось, что это царь загадочной горы, повелевающий деревьями и зверьём. Позже отец сказал мне, что это Керос-гора, а вышку на ней поставили геодезисты. Но это только добавляло загадочности.

Должно быть, я медленно постигал мир, потому что долгое время он для меня заканчивался Керос-горой, за которой, конечно же, не могло быть ничего. Мир казался таким огромным, что мне с лихвой хватало того, что я видел из деревни. И он всё больше становился для меня своим — понятным, уютным. Под осень поля дадут душистый хлеб, рассыпчатую картошку и сочную галанку. В ближайшем лесу спеют голубика, черника, брусника. На склонах веретеек можно полакомиться костяникой и земляникой. В старой, обмелевшей протоке Вычегды купайся хоть до одури, лови селявок. Всё понятно и привычно. Но Керос-гора всегда оставалась для меня тайной.

Когда я услышал от взрослых, что где-то (совершенно непонятно — где) есть большие города, что в них живёт куда больше людей, чем в нашей деревне, и что эти люди ездят по дорогам, летают по воздуху и плавают по морям... Когда я всё это узнал, то пережил потрясение. Я снова вглядывался в Керос-гору и силился поверить, что на ней не кончается мир.

Раньше я не задумывался, откуда к нам приезжают гости. Теперь-то я знал: они живут за Керос-горой. Они живут в другом мире, который, конечно же, не такой красивый, как наш. Но может быть, там тоже растут ягоды и грибы, а в реке водится рыба?

Я подросток ещё немного. И в голову пришла отчаянная мысль: а нельзя ли как-то добраться до Керос-горы? Я бы с неё увидел другой мир и сравнил его с нашим. Я бы узнал, хороши ли эти самые города, где людей больше, чем в нашей деревне. Может, гости глупо поступают, что возвращаются назад, а не остаются у нас, где всё так хорошо и красиво?

Я отчётливо сознавал, что выше Керос-горы ничего нет и быть не может. Поэтому удивлялся, что другие даже не помышляют забраться на неё, чтобы увидеть сразу весь мир. Людское нелобопытство было новым моим открытием, от которого, кстати, я до сих пор не решаюсь отказаться.

Я рос, а вместе со мной расширялся мир. В нём появились страны, моря, океаны. Земля стала круглой, и это, на мой взгляд, было опасно: в любую минуту можно было сверзиться с неё и шмякнуться, почище, чем когда я упал с сарая.

В иные дни, особенно осенью Керос-гора исчезала в непроглядной пелене туч. Мир становился унылым и одиноким. Без горы, без вышки на ней я сам себе казался заблудившимся. Мутное небо целилось в меня первыми каплями дождя. Промазав раз, другой, оно злилось и начинало лить как из ведра. Лем синел, чернел и тоже исчезал. Мир сужался, на душе становилось тоскливо, тревожно. Словно кто-то украл и гору, и лес, и всё, что я любил, чем жил. Даже делалось страшно: вдруг всё это исчезнет навсегда! Разойдутся тучи, а вместо мира — пустота... Но кончался дождь, небо сбрасывало с себя мокрое, холодное одеяло, и я снова любовался Керос-горой, умытой и посвежевшей пармой. Мир не кончался. Мало того, с каждым годом он становился всё интересней.

Я различал и хорошо знал каждую верхушку деревьев-великанов на Керос-горе. Мог с закрытыми глазами нарисовать вышку, хотя издали её опоры казались тоньше паутинок. Каждое утро я первым делом смотрел в сторону горы: если есть она, а на ней — царь-вышка, то буду и я. Если же исчезнет этот компас моего детства, то неминуемо случится что-то страшное в этом непрочном, временами исчезающем мире.

Как же получилось, что я так и не попал на Керос-гору? Строил подробные планы, как переплыву я широченную в наших местах Вычегду, как буду пробираться сквозь парму, прорубая где надо дорогу топором, как одолею

топи... Всякий раз, когда я собирался в далёкий и опасный путь, что-то мешало мне. Мой план был словно заговорённый.

Я бывал там только в мечтах. Гладил ладонями бронзовые стволы великанов, под лапами которых мог укрыться самый большой дом нашей деревни, отважно взбирался на вышку и смотрел на города и деревни. С такой высоты я различал поезда, пароходы, отходящие от морских причалов, видел летящие вдали самолёты.

Я видел с горы всё. И оттого понятной была моя жизнь. И яснее становилось, что мне надо делать в этой жизни.

Но всякий раз что-то преграждало мне путь на заветную Керос-гору. Однако я не обижался, не роптал на судьбу, знал: такая высокая мечта, как моя, не должна так уж легко даваться в руки. Пусть я не был на горе, но ведь она всегда оставалась со мной. Когда делалось особенно худо на душе, когда когтистые лапы обид драли неокрепшее сердце и казалось, что я никому не нужен в целом свете, Керос-гора со своей царь-вышкой, со своими непобедимыми бронзовыми великанами словно говорили мне: "Главное не то, что под ногами, главное то, что в вышине". И я учился жить с поднятой головой, хотя с годами стал понимать, что так жить опаснее, потому что в поднятую голову легче целиться.

Как у всякого начинающего жить человека, у меня были случаи, когда сердце готово было подло струсить, а душа — спрятаться в неподходящее место, то есть в пятки. В такие минуты Керос-гора с её гордой вышкой словно бы спешили мне на помощь, я почти физически чувствовал, как сердце полнится отвагой, как в теле прибывает силы и как уменьшается опасность. Ведь всякая опасность живёт за счёт нашей трусости.

До горы было так же далеко, как и в раннем детстве. Но она становилась мне всё ближе.

Судьба умеет играть человеком, причём с большим азартом. Она далеко увела меня от отчего дома. За долгие годы я многое повидал, много пережил. Но деревня всегда занимала в сердце моём самое почётное место.

И вот в ясный, солнечный день я приехал домой. Родительский дом. Каким теплом от него веет — душевным, неповторимым теплом. Крыльцо. Каждый сучок, каждая трещинка до боли знакомы. Поднимаясь на крыльцо, я всегда смотрел на горизонт, на Керос-гору. Посмотрел и сейчас.

Посмотрел, и сердце защемило. Сперва не понял, что случилось с моей горой. Потом кольнуло: царь-вышка исчезла. Нет её.

"Ничто не вечно под луной..."

Она была, как командир бронзовых чудо-богатырей. Она словно стергла парму от недобрых глаз и рук... Видать, подгнули опоры, обветшали крепления, потом налетел ветровал, и не устояла царь-вышка перед временем быстротечным. Осиротела Керос-гора. Когда-то она давала мне силы, а нынче впору мне саму её пожалеть.

И снова не случилось мне побывать на заветной горе. Не приложил я ладони к бронзовым телам великанов, не снял шляпы перед поверженной временем царь-вышкой.

И ещё пролетели годы. Был я в чужих землях, видел горы величественные выше неба, беседующие с вечностью, плохо различающие жизнь у своих подножий. Видел огромные города, ознакомился с людьми, говорящими на иных наречиях, встречал зори, приходящие с другого берега океана. И всё ниже становилась моя Керос-гора, всё реже согревал я своим сердцем память о бронзовоствольных соснах. Стал я с иронией вспоминать, как собирался оглядеть весь мир с Керос-горы, на которую мог бы, наверно, взойти без роздыху.

В следующий раз я — солидный, изрядно уставший от жизни человек — ехал в свою деревню по новому асфальту, который безжалостно, точным ударом полоснул по самому сердцу горы.

Неожиданно я почувствовал рубец на своём сердце.

Сделалось больно. Я ещё не осознал глубинного смысла этой боли.

Я попросил остановить автобус. Вышел, не замечая удивлённых взглядов пассажиров. Пусть уезжают. Пусть оставят меня в покое. Меня и мою гору.

Я вошёл в древнюю, седую парму, неся в сердце боль и вину. Боль и вина скатались в комок, который мешал мне вдохнуть полной грудью целебный воздух моей родины.

Довольно поживший и повидавший, познавший житейскую мудрость и болезни, притерпевшийся к соседству высокого и низкого, я знал, что не встречу здесь чуда. Оно было, но я не сохранил его, растерял у подножий величайших вершин мира, обронил при рукопожатиях, проворонил, увлечшись океанскими восходами, растряс в бестолковой толчее городов-муравейников.

Тихо и устало брёл я по беломошному бору. Молча, словно чего-то ожидая, на меня смотрели бронзовые великаны. Наверно, я был для них одним из странных муравьёв железобетонного муравейника, лишённого воздуха и света.

Встречались кустики черники, голубики. На беломошнике рубиново горела брусника. Я не касался ягод. Я не мог положить ладони на красные стволы с седыми прядями мха. Что-то было заперто в моей душе, в темнице моей души, что-то томилось там в неволе...

Должно быть, совсем недавно тут был очередной налёт ярко-огненных белок — под соснами мох был усеян вылуценными шишками. Нередко путь мне преграждали могучие стволы поверженных сосен и елей. А ведь издали они казались непобедимыми... Иные павшие великаны наполовину истлели, другие ещё не потеряли побуревшую кору.

Я всё хотел набрести на останки царь-вышки, но не нашёл.

Может, мне больно оттого, что, повзрослев, торопясь жить, я забыл взять с собой из детства что-то важное, главное? А когда захотел вернуться за ним, за этим самым важным, то не узнал его.

Уже не тот я. Ах, до чего же я не тот! На мир смотрю сквозь очки бытового мудреца, сквозь стёкла всезнайства. Мир всё чаще вызывает у меня снисходительную улыбку умеренного, но язвительного сноба. Это мой защитный панцирь, неуклюжий до глупости. Я многое терял навсегда. От многого отказывался сам. Старался что-то найти. Там ли искал? То ли находил?

Усталый, с непонятной ещё тревогой в душе, я подошёл к бронзовоствольному великану, обнял его и приник щекой к шершавой коре.

Я, блудный сын Керос-Горы, что-то предал. Что-то запер в темнице своей души. Надо отпереть эту темницу. Это можно сделать только здесь, на Керос-горе, я это чувствовал.

— Помогите мне, — прошептал я.

Высоко над головой зашумели кроны — должно быть, налетел ветер близкой осени. Ели сердито замахали длинными разлапистыми ветвями. И стихло.

Ладонями и щекой я чувствовал живительное тепло. Оно вливалось в меня, отогревало душу. Я снова был в своём детстве — далёком, счастливым, когда ничего не боялся, потому что у меня была Керос-гора. Детство несло с собой счастье. Счастье от того, что сбылась главная моя мечта: я дошёл до своей горы.

Из бора я выходил другим человеком. На душе было удивительно светло. Нет больше в ней никаких темниц, я выпустил на волю свои детские мечты, и Керос-гора стремительно выросла в моих глазах. Теперь мне даже смешно сравнивать её с головокружительными вершинами мира. Самые трудные восхождения, самые неприступные вершины мы носим в себе. Самые трудные восхождения — на вершины нашей души.

Бодро и легко шагала я в свою деревню, подбирая для неё в уме нежные, ласковые слова, обнимая взглядом парму и небо над ней. Это мой мир. Мне не нужен другой, откуда я всегда привозил усталость и разочарования.

А если мне захочется увидеть тот, другой мир, чтобы ещё раз сравнить его со своим, то я приду на Керос-гору. С неё видно далеко.

Перевод с коми Л. Столповского

УМНЫЙ ДУРАК

РАССКАЗ

Однажды на уроке истории Валентина Ивановна, чем-то сильно раздосадованная на Максима, сказала ему в сердцах:

— Слушай, Прокушев! Есть у тебя и голова на плечах, и ум в ней водится. А вот лени и упрямства — хоть отбавляй! Ведь можешь хорошо учиться! Даже знаменитостью когда-нибудь станешь, если захочешь.

— А если не захочу? — задорно спросил Максим, совсем, впрочем, не думая нарваться на ссору. Просто мальчишке по-своему льстило, что именно о нём, а не о ком-то другом так сказала эта красивая женщина со строгим взглядом.

— А если не захочешь? — дразня Максима его же словами, Валентина Ивановна помедлила и заключила:

— Если не захочешь — дураком будешь!

Грохнул ребячий смех. Но словно не заметив общего веселья, учительница сказала, как отрезала:

— Ну, не таким уж и дураком. Умным дураком будешь! Есть на свете и такие. И их немало. Из-за собственного упрямства не ладят они с удачей. Отворачивается она от них. Запомни мои слова, Максим, чтобы потом каяться не пришлось.

Строгой была Валентина Ивановна, но уважали её ученики за то, что она всегда находила ответы на их самые неожиданные вопросы, учила думать, а не просто зубрить параграфы учебника. И ведь нашла же что-то особенное в Прокушеве! Ребятам даже завидно стало. Пытались и они новыми глазами взглянуть на Максима. Такой же пацан — ничем не отличается от других! А Валентина Ивановна “отличила”, да ещё как!

После этого и стали поддразнивать Максима, зовя его “умным дураком”. Но он не обижался.

После окончания школы Прокушев с первого раза, несмотря на огромный конкурс, поступил в один из престижнейших московских вузов. Как так удачно получилось, Максим и сам не смог бы объяснить. А деревенские, прознав об этом, с гордостью говорили о земляке: “Вон как высоко прыгнул! Может, большим человеком станет!” А “большой человек” может навсегда прославить даже затерявшуюся в парме деревеньку.

Но особенно радовались родители Максима. Не зря они сына растили. Не пропали их труды понапрасну. Когда-нибудь добром же и обернутся.

Тем временем Максим учился, легко переходя с курса на курс. Его уважали за умение оригинально мыслить. Но особенно сокурники любили, когда Прокушев вступал в дискуссию с именитыми профессорами. Никому не известный, вышедший из глухой таёжной деревни парень порой ставил в тупик своих преподавателей. Разведя руками, они говорили:

— Что ж... Может, ты и прав. Может, всё по-твоему и будет...

И уже внимательно, даже с какой-то почтительностью разглядывали этого студента — раз такие мысли бродят у него в голове, будет из него толк!

Но, как на грех, на последнем курсе чем-то разонравился Прокушеву этот институт. Ну, что с того, что он хорошо учится? Ну, любит изредка поспорить с преподавателями и даже порой кладёт их в споре на обе лопатки. Кто-кто, а уж Максим-то знал, что не своими мыслями он при этом изъясняется, а чужие, книжные пересказывает. А в этом ничего особенного нет — может, только память замечательная да умение вести дискуссию.

Своего, оригинального ничего в нём, Максиме Прокушеве, нет. Вот закончит институт и будет читать с кафедры лекции, а вечерами писать умные книги, которые прочтает не так уж много людей и о которых через некоторое время благополучно забудут. А он так и состарится на этой кафедре, живя в громадном, шумном и пыльном городе.

А потом настанет время спросить себя, для чего жил на этом свете и что успел сделать хорошего. И тогда он сможет похвастаться только этими, из года в год читаемыми лекциями, о которых его бывшие студенты уже давно забудут, да когда-то написанными книгами, которые будут мирно пылиться на полках, оставленные немногочисленными читателями...

И вспомнились тут Максиму слова Валентины Ивановны. Может, права она? Может, не дано ему стать знаменитостью, несмотря на надежды земляков?

И тоскливо стало на сердце оттого, что так и пройдёт его жизнь в этом городе, где он всё больше и больше ощущает себя посторонним. Да и родной пармы он стал как будто сторониться. И с какой-то неожиданной остротой вспомнилась вдруг притаившаяся у широкой лесной красавицы-реки деревенька, где живут знакомые с детства и такие дорогие ему люди. Да, порой они грубоваты, но не бросят тебя в трудную минуту, обязательно придут на помощь.

И так ненавистен стал Максиму большой город, к которому не сумел он привыкнуть, что готов он был сию же минуту оставить его и вернуться в родную деревню. Наплевать, что до защиты диплома остались считанные месяцы. Наплевать и на то, что его, как одного из лучших студентов, оставляют на кафедре.

Никого не известив, собрал Прокушев свои манатки и через неделю был уже дома. Его поступок поразил руководство института. Больше всех был удивлён тот самый профессор, который больше других спорил с Максимом и видел в нём свою будущую замену. Он даже прислал Прокушеву пространное и строгое письмо, где, как когда-то Валентина Ивановна, обозвал его “умным дураком”. Максим только улыбнулся, прочитав его. Ничего эти учёные не понимают в жизни! А оправдываться он не желает. Что сделано, то сделано. Поэтому и не написал он ответа уважаемому профессору. Решил, что повспоминают о нём, Максиме Прокушеве, в институте, да и забудут потихоньку.

Но другое дело отец Максима. Он с нетерпением ожидал сына уже с дипломом на руках. Надеялся, что сын так и будет жить да поживать в Москве, рядом с большими людьми и сам когда-нибудь в чины выйдет. А отец изредка будет навещать сына и хвалиться перед деревенскими: вот, мол, как высоко мой Максим поднялся! Но не сбылось...

Опозорил сынок отца. Хоть на глаза никому не показывайся! Осерчал отец:

— Не смог осилить учење! Умнее других себя считаешь? Я-то надеялся, что когда-нибудь приедем с матерью погостить к сыну в Москву... Что ты теперь собираешься делать? Топором-то махать — дело немудрёное. Большой грамоты не требует.

Пораздумал маленько и добавил:

— Как хочешь, а кормить тебя я больше не буду. Вон каким умным стал! Сам устраивай свою жизнь. А у нас с матерью и без тебя забот хватает.

Покорно выслушал Максим отца. Слова не сказал. Знал, что может невзначай ещё больше прогневить родителя и только хуже сделает. Пусть поворчит. Постепенно пройдёт его гнев, как жар остывающего уголька.

И ещё одним поступком удивил Прокушев. Об этом только и было разговору у деревенских кумушек, собиравшихся потолковать в магазине:

— Слыхала, что у Чёрного Сандро Максимушко-то уделал?

— Что, что такое?

— Ушёл из дома и поселился у Хромой Иры! Мать, говорят, слегла после этого. Еле откачали.

— Так Ира-то с “приданным”! Никто её замуж не брал, вот и переспала с проезжим шофером. От него, безвестного, и ребёнок у хромой.

— А не смотрят теперешние женихи, с ребёнком или без, хромает или нет избранница! И у родителей не спрашивают!

— Максим-то вроде с Линой дружил. Родители уже и о свадьбе говорились.

— Лина, говорят, в город от стыда и печали подалась.

— О, Господи! Что делается на свете? Не понять нам...

Но что бы ни говорили кумушки, а удивляться было нечему. Максим действительно дружил с рыжеволосой Линой из соседнего дома. Когда-то в одном классе учились. Лина на год раньше закончила институт и сейчас учительствовала в своей деревне. Ждала на лето Максима из Москвы. Но когда узнала, что тот бросил учёбу, обиделась, не поняла его. Он в ответ тоже стал косо смотреть на Лину.

Почему-то тогда же всё чаще и чаще стала попадаться на глаза Прокушеву вечно улыбающаяся Ира. Работала она бухгалтером в сельхозкооперативе. Деревенские звали её Хромой Ирой. Она в детстве повредила левую ногу, и хотя об этом все знали, посторонний человек даже и не заметил бы этого недостатка. Она лишь слегка припадала на ногу.

Что-то тронулось в душе у Максима после встреч с Ирой. Вроде перебросились малозначащими фразами, но уж как-то очень пристально разглядывала Ира парня. Очень настойчивыми были её синие бездонные глаза, как бы приглашавшие всмотреться и окунуться в их глубину. Ласково разговаривая с Максимом, она словно манила и просила; “Не бойся меня, подойди поближе да послушай, как сильно бьётся моё сердце!”

После того, как у неё появился ребёнок, Ира действительно стала женственнее и привлекательнее. Даже записные деревенские женихи стали поглядывать на неё да подходить с ласковыми разговорами. Но не допускала она к себе никого.

И вот встретился на её пути вернувшийся из Москвы Максим, “умный дурак”, как опять кое-кто из деревенских стал величать сына Чёрного Сандро. А Максим почему-то стал побаиваться её женского ласкового взгляда, хотя с нетерпением ждал встреч, и даже во сне стал видеть её глаза.

И так сильно стало тянуть парня к молодухе, что понял Максим: жить без Иры он уже не сможет. Подумаешь, с “прибытком”. Вместе вырастим. Станет он ребёнку отцом, а потом и свои пойдут.

Жалел Иру, что обманул её какой-то заезжий шофёришка, обещавший даже жениться на слишком наивной девушке. А когда Ира почувствовала себя в тягости, жениха и след простыл. И можно ли после этого доверять всему мужскому роду, когда некоторые из них так подло поступают с девчонкой, ничего, кроме своей деревни, не видевшей и верящей во всё доброе? И пускай деревенские парни старались не замечать Иру, потому что кто-то сторяча прозвал её Хромой. Сама она на это не обращала внимания и всей своей всё ещё доверчивой душой надеялась встретить сказочного царевича.

И попался ведь царевич на её пути! И пусть хоть о чём болтают в деревне, Ира его не упустит.

И уже скоро Максим, не ожидая благословения родителей, перебрался к Ире в однокомнатную квартиру. А Лина, вконец обидевшись, то ли со стыда, то ли от печали, что отняли у неё такого парня, действительно уехала в город. Насчёт этого сарафанное радио не ошиблось.

Один Чёрный Сандро не находил себе места и ворчал:

— Надо же было такому завидному парню пойти в примаки к какой-то шалавой бабе! Да что у него, мозгов нет? Не зря его учительница прозвала “умным дураком”. Долго ещё придётся сыночку дурью маяться, пока не помнеет.

А у Максима с Ирой на удивление жизнь с первого же дня пошла хорошо. Нынче даже за глаза никто не смел назвать её Хромой. Если уж такого парня сумела отхватить!

Максим работал в строительной бригаде. В летние месяцы поднимали срубы то жилого дома, то фермы, то склада. Зимой валили лес. Прокушев не хуже других был и по сноровке, и по силе.

А когда через год у них с Ирой появился на свет сыночек, родители помирились с молодыми. До этого мать так переживала, что даже пришлось лечь в больницу. А сейчас отлегло у неё от сердца. Молодые живут в мире и согласии, в деревне их уважают, а те же кумушки начали даже похвалить Максима — мол, не побоялся взять женщину с “приданым”. Поэтому родители старались забыть своё прежнее недовольство. Не знаешь ведь нынешнюю молодёжь — может, так и надо? Как хотят, так и живут.

Во время перекуров товарищи по бригаде нет-нет, да и попросят Максима рассказать об учёбе в Москве. Он первое время отнекивался, но они были настойчивы:

— Давай, рассказывай, нечего нос задирать! Мы люди тёмные, хотим знать, как там, в большом городе люди живут, о чём думают. — Они не умнее вас. А если их на наше место поставить, то едва ли что-нибудь до конца доведут. Только испортят. У каждого человека свой крест, который надо нести до конца жизни на этой земле.

— Не трави душу, времени мало! — опять обращались к нему. — Расскажи о москвичах-то.

Максим нехотя начинал рассказ про московскую жизнь и незаметно сам загорался. У его товарищей глаза на лоб лезли. Удивлялись:

— Ну и ну! У тебя, оказывается, ума палата. Чего ты вернулся? Жил бы в Москве, ездил на иномарке, пил виски да коньяк. А нам что? Только вот эта тяжёлая работа и достаётся.

И с какой-то завистью и жалостью качали головами — есть же где-то на свете другая жизнь, где не надо так горбатиться.

А Максим в это время думал, что его товарищи не понимают своего счастья. Они живут на земле своих отцов среди древней пармы по установленным предками справедливым законам. И не надо никогда насиловать душу человеческую — пускай каждый живёт, как хочет.

А почему он вернулся из Москвы в Богом забытую парму? Тосковать начал по родным местам, по друзьям-братьям.

В ответ товарищи только посмеивались. Хотя сами, навещая ближайший город по своим делам, только два дня выдерживали новый ритм жизни. А потом каждого начинало тянуть в родную деревню, к своему подворью, жене да детям. Чего тогда Максима осуждать?

А товарищи, то ли шутя, то ли всерьёз, начинали осуждать Прокушева и за то, что Ира в последнее время начинает брать над ним верх и даже прилюдно ворчит на мужа. Может, Максим уже не мужчина и не хозяин в своём доме?

Зря такое наговаривали. Ира, конечно, ревновала Максима. Только неизвестно, к кому и к чему. Поэтому нарочно на людях старалась показать себя строгой хозяйкой. А дома, нечего и говорить, жили душа в душу. Максим, как и прежде, жалел Иру и не хотел, чтобы жена брала на себя лишнюю обузу.

Пускай говорят, что он под пятой у жены оказался, что она его, словно вожжами, держит в руках. Так, мол, и надо, чтобы не особенно нос задирал. А то, понимаешь, Москва ему не понравилась! Да другой бы на его месте, может, Бога бы сто раз возблагодарил, что попал в такой институт и смог закончить его. А ему и этого не надо! Что поделаешь, такой он и есть — “умный дурак”!

А Максим и внимания не обращает, что его за глаза и даже в глаза зовут “умным дураком”. Ведь у большинства деревенских прозвища есть. И ему своё по нраву.

А другой жизни Прокушеву не надо. И безмерно счастлив бывает, когда рано утречком, ещё лежа в постели, встречает поднявшееся за дальним лесом, только что проснувшееся солнышко, которое заливает своими лучами всю деревню. Тогда Максим тихонечко встаёт, кое-что делает по дому и только тогда будит Иру, чтобы успела перед работой маленьких отвести в садик. Проводит жену и детей, сам собирается на работу.

И счастлив он такой жизнью. И больше ему ничего не надо. Не надо — и всё! Может, и права была Валентина Ивановна, называя Максима “умным дураком”. Он не отказывается от этого прозвища. И нисколько не раскаивается в том, как жил и как живёт.